



Г. ФЛОРОВСКИЙ

Пути русского богословия

<фрагмент>

6. Религиозная проблематика культуры <...> с особенной остротой чувствуется у Гоголя, — и трудно разграничить его творческий путь от его личной судьбы... В ряду своих русских сверстников, старших и младших, Гоголь (1809–1852) занимает очень своеобразное место. Это был сразу писатель передовой и отсталый... От Гоголя идут новые пути, и не в литературе только. Есть что-то пророческое в его творчестве... Но сам он как то запаздывает в прошедшем веке... В этой душевной отсталости, в этом душевном архаизме Гоголя — один из узлов его трагической судьбы... Философские веяния эпохи Гоголя не коснулись, разве через искусство... «Споры» его современников, все эти «споры о наших европейских и славянских началах», между «староверами» и «нововерами», или славянистами и европистами, представлялись ему сплошным недоразумением, — «все они говорят о разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу»... Гоголь вращается чаще среди славянофилов, но сам он не был славянофилом. Его вернее считать западником... Любил он не тот Запад, что тогдашние русские западники, и не тою любовью. Но в своем мировоззрении и в складе душевном он был весь западный, с ранних лет был и оставался под западным влиянием. Собственно, только Запад он и знал, — о России же больше мечтал. И лучше знал, какой Россия должна стать и быть, какую он хотел бы ее видеть, нежели действительную Россию... В ранние годы Гоголь проходит опыт немецкого романтизма и сам творит конгениально в этом романтическом духе. То не было подражанием, и не было только литературной манерой. Гоголь овладевает самой творческой

проблематикой романтизма, интимно вживается в этот романтический опыт. И для него лично то был важный сдвиг или поворот во внутренней жизни... С творческой серьезностью Гоголь пережил и прочувствовал все демонологические мотивы романтики и перевоплотил их в полнозначных образах. И чувствуется в этом сила личного убеждения, острота личного опыта, — мир во власти злых сил, в темной одержимости, и во зле лежит... Этому соответствует рано пробуждающееся чувство религиозного страха, — и то был именно испуг, не столько трепет или благоговение... Молодой Гоголь и религиозно живет в каком-то магическом мире, в мире чарований и разочарований. У него были странные прозрения в тайны темных страстей. Впоследствии пред ним раскроется «мертвая бесчувственность жизни». Он изображает точно остановившиеся, застывшие, неподвижные лица, — почти не лица, но маски (Розанов отмечал, что портрет у Гоголя всегда статичен)... И верно было замечено о Гоголе, что видит он мир под знаком смерти, *sub specie mortis*... От романтизма у Гоголя и его первое утопическое искушение, искушение творческой силой искусства. И затем первое разочарование, — самое искусство оказывается двусмысленным, и потому беспомощным. «Магический идеализм» соблазнительно двоятся... «Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во все силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо, без образа на земле. Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуты самых чистых и святых помышлений»... Этот испуг остается у Гоголя на всю жизнь, до предсмертной молитвы. «Свяжи вновь сатану таинственной силою неисповедимого Креста»... Романтический опыт всегда слагается из антитез и натяжений. Непосредственность и рефлексия, «соборность» и своеволие, примирение и протест, покой и тревога, — в такой диалектической игре весь романтизм. Мотивы примирения в русском романтизме выражены сильнее, «органические» мотивы преобладали здесь над «критическими». Это нужно сказать прежде всего о славянофильстве, поскольку оно было романтическим. Только у немногих звучали тревожные голоса, только немногим дано было апокалиптическое ухо слышать. Таков был Лермонтов, творчество которого тем загадочнее, что не досказано. И особенно силен был этот апокалиптический слух у Гоголя... Но сам в себе романтизм религиозно безвыходен, из романтизма нужно вернуться в Церковь, — то путь «религиозного отречения»¹. Внутри же романтизма

есть только мнимые и ложные пути... Религиозное мировоззрение молодого Гоголя было очень расплывчатым. Это был очень неопределенный религиозный гуманизм, романтическая взволнованность, чувствительность, умиленность. Реальности Церкви тогда Гоголь не ощущал, разве эстетически... «Я пришел ко Христу скорее протестантским, чем католическим путем», — писал впоследствии Гоголь Шевыреву. «Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанию души, а потом уже поклонясь Божеству Его»... И тоже снова в «Авторской исповеди»... «С этих пор человек и душа человека сделались больше, чем когда-либо, предметом наблюдений... Я обратил внимание на узвание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди ананхорета и пустычника, меня занимало, — и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидавши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не исходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он»... Это признание очень характерно... То был путь пиетического гуманизма, которым шел Гоголь. И в этом он принадлежит еще к Александровскому веку... Книги каких «душезнателей» и «душеведцев» читал Гоголь, сказать в точности трудно. Во всяком случае, он читал Библию. И привык читать ее как книгу пророческую и даже апокалиптическую. Библейская торжественность начинает проникать и в стиль самого Гоголя... «Разогни книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, увидишь яснее дня, в чем оно преступило пред Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся страшный суд Божий, что вострепетает настоящее»... Гоголь говорит об этом в связи с лирическим призванием русской поэзии. И отмечает нечто пророческое в русской поэзии. «И звуки становятся библейскими у наших поэтов», — ибо уже приближается для России «иное царство»... В духовном развитии Гоголя римские впечатления были решающими. «Все, что мне нужно было, я забрал и заключил в глубину души моей. Там Рим, как святыня, как свидетель чудных явлений, совершившихся надо мною, пребывает вечно»... И не в том дело, конечно, что княгиня Зинаида Волконская и польские братья «вос-

кресенцы»² умели или не сумели склонить Гоголя в сторону католицизма. «Переменять обряды своей религии», действительно, Гоголь и не помышлял. И просто потому уже, что тогда не замечал никакой разности между исповеданиями. «Потому что, как религия наша, так и католическая, совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменить одну на другую. Та и другая истинна; та и другая признает одного и того же Спасителя нашего, одну и ту же Божественную Премудрость, посетившую некогда нашу землю, претерпевшую последнее унижение на ней, для того, чтобы возвысить выше нашу душу и устремить ее к небу»... Но от своих римских собеседников Гоголь слышал не только о догматах римского католицизма. Они беседовали и «о славянских делах». Встречался Гоголь и с Мицкевичем. Нужно думать, польские братья рассказывали Гоголю о своем деле, о своем обществе или ордене Воскресения, о польском мессианизме. И то был некий возбужденный «апостолат истины», программа религиозного действия. Для Гоголя то было первым введением в круг тогдашнего социального христианства... Религиозный опыт Гоголя в эти годы не исчерпывается эстетическими переживаниями. Социальные мотивы тоже достаточно резко вычерчиваются в его сознания, — и это вполне понятно на тогдашнем историческом фоне. В этом отношении очень характерен «Рим» Гоголя. «Страшное царство слов вместо дел»... И это всеобщее опустошение — от безверия... «Иконы вынесли из храма, — и храм уже не храм: летучие мыши и злые духи обитают в нем»... От обратного подсказывается идеал религиозного возвращения... Ближайшие друзья Гоголя, — Виельгорские, Смирнова³ и др., — были связаны с католическими кругами в Париже. Смирнова увлекалась проповедями Лакордера, Равиньяна, бывала в кружке Свечиной (в конце 30-х годов). Это был новый источник соприкосновения с социальным католичеством... Весьма вероятно, что Гоголь читал в Риме книгу Сильвио Пеллико, «Об обязанностях человека»⁴ (*Dei doveri degli Uomini*), — она была отмечена сочувственно и в русских журналах (вышла в 1836 г.)... Для Гоголя этого было уже достаточно. Своей гениальной впечатлительностью он схватывал намеки на лету и творил из них сладостную легенду, ибо был поэт... Следует припомнить, что в последней уничтоженной редакции «Мертвых душ» был выведен священник, и в этом образе личные черты отца Матвея были странно сплетены «с католическими оттенками». Это говорит о силе «католических» впечатлений Гоголя... В римские годы основной книгой в душевном обиходе

Гоголя была знаменитая книга о Подражании (срв. ее влияние на Иванова). Эту книгу он прислал из заграницы своим московским друзьям для ежедневного чтения и медитаций. «По прочтении, предайтесь размышлениям о прочитанном. Переверотите на все стороны прочитанное, с тем, чтобы наконец добраться и увидеть, как именно оно может быть применено к вам»... Так, очевидно, поступал и сам Гоголь. «Изберите для этого душевного занятия час свободный и неутруженный, который бы служил началом вашего дня. Всего лучше немедленно после чаю или кофию, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас»... Он читает и советует Смирновой прочесть кое что из «Oeuvres philosophiques» Боссюэта...⁵ У Смирновой же он просит: «Поищите Томаса Аквинтуса “Somma theologica”, если она только переведена по-французски»... Одновременно Гоголь читает и святых отцов, в русских переводах, в «Христианском чтении» и в московских «Прибавлениях» (книги ему пересылали из России, но кое что давал ему и парижский протоиерей, о. Д. Вершинский, из магистров Петербургской академии). Но вот что любопытно, — работая над своими «Размышлениями о Божественной литургии» в 1842 и 1843 гг. в Париже, Гоголь вместе со славянским текстом имел под рукою еще и латинский, — очевидно, взамен греческого, из Гоара. В основу толкования была положена известная книга Дмитревского. Гоголь просил прислать ему и Ареопажитики... Все эти подробности очень показательны. Стиль у Гоголя складывается западный... И когда он читал святых отцов, его душевные навыки уже установились и отеческие мотивы вплетались в уже готовую ткань... Читал Гоголь тогда и Златоуста, и Ефрема Сирина, и преп. Максима «о любви», и все «Добротолюбие» (Паисиево), и Тихона Задонского (срв. его выписки из святых отцов). Неясно, зачем просил он прислать ему Стефана Яворского (проповеди), Лазаря Барановича («Трубы Словес» и «Меч духовный»), «Розыск» Димитрия Ростовского, — и не видно, получил ли он эти книги. Из современных русских авторов он читал слова Иннокентия, еще проповеди Иакова Вечеркова, анонимные статьи в «Христианском чтении»... С ранних лет у Гоголя была твердая уверенность в своем избранничестве, в своем призвании и предназначении — чем-то означать свое существование, нечто великое или особенное совершить. Такое самочувствие характерно для всего поколения и даже для всей этой сентиментально-романтической эпохи. И то был очень сложный сплав... У Гоголя это самочувствие призванного достигает временами степени навязчивой идеи, прелестной

гордыни. «Кто-то незримый пишет предо мною могущественным железом»... Он убежден, что призван свидетельствовать и учить. «Властью вышшею облечено отныне мое слово», — «и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова»... Он был убежден в особой значительности и своего личного опыта и примера, и оправдывался против упреков, «зачем он выставил свою внутреннюю клеть», напоминая, «что все-таки я еще не монах, а писатель». И он продолжает. «Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь быть лучшим, чем я есть. Я не нахожу соблазнительным томиться и сгорать явно, в виду всех, желанием совершенства»... У Гоголя была очень опасная теория молитвы. «Как узнать хотение Божие? Для этого нужно взглянуть разумными очами на себя и исследовать себя: какие способности, данные нам от рождения, выше и благороднее других. Теми способностями мы должны работать преимущественно, и в сей работе заключено хотение Бога; иначе они не были бы нам даны. Итак, прося о пробуждении их, мы будем просить о том, что согласно с Его волею; стало быть, молитва наша прямо будет услышана. Но нужно, чтобы эта молитва была от всех сил души нашей. Если такое постоянное напряжение хотя на две минуты в день соблудности в продолжении одной или двух недель, то увидишь действия ее непременно. К концу этого времени в молитве окажутся прибавления... И за вопросами в ту же минуту последуют ответы, которые будут прямо от Бога. Красота этих ответов будет такова, что весь состав уже сам собою превратится в восторг»... Очевидно, что Гоголь практиковал такую молитву. И неудивительно тогда, если он придавал своим творениям почти непогрешительное значение, видел в них высшее откровение... Учительная настойчивость Гоголя, его прямая навязчивость очень раздражала его ближайших друзей. И есть странная чрезмерность в оборотах и словах, которые выбирает Гоголь, когда говорит о себе и о своем деле. «Соотечественники, я вас любил, — любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог»... Религиозный путь Гоголя был труден, в своих изгибах и надломах он не объяснен и вряд ли объясним... Часто прорываются эти судорожные подергивания религиозного испуга, — страшные видения вдруг встают пред его взорами, и он внутренне обмирает. «Дьявол выступил уже без маски в мир», — вот его страшное прозрение! «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся»... В опыте Гоголя есть несомненные

элементы аскетического надрыва, болезненная перенапряженность покаянной рефлексии... Но именно в том своеобразие Гоголя, что с этим острым аскетизмом он соединяет очень настойчивую волю к общественному действию... В этом весь смысл роковой книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»... Как сам Гоголь настаивает в «Авторской исповеди», в «Переписке» он хотел «заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения» (т. е. во II-м томе «Мертвых душ»). Очень характерно здесь это выражение — «доказать». Свои художественные образы Гоголь сознательно обращает в доказательства... В «Мертвых Душах», во второй части, Гоголь хотел показать «возрожденную» или пробудившуюся Россию. В понимании Гоголя это ведь не бытовая повесть, а именно «поэма», и «душеполезная поэма». И «Переписка» есть идеологическое предисловие к этой «поэме»... Только по крайнему недоразумению в этой книге можно было найти проповедь личного совершенствования и спасения. В действительности же то была программа социального христианства... Это впервые напомнил, кажется, только Гершензон. «На русском языке, быть может, нет другого произведения, так беззаветно, так целостно, до малейших оттенков мысли и слова, проникнутого духом общественности»... И Гершензон верно отметил неожиданное сочетание у Гоголя нравственного пафоса с самым крайним и мелочным утилитаризмом. «Бесцельная радость бытия для Гоголя не существует... Его мышление насквозь практично и утилитарно, и именно в общественном смысле»... Основная категория у Гоголя есть служба, — даже не служение... «Нет, для вас, так же как для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия. Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она теперь зовет сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни»... Всего менее Гоголь был доволен современностью, всего менее довольствовался он существующим порядком и положением. Он весь был в пафосе обновления, и была в нем какая-то апокалиптическая нетерпеливость, жажда прямого действия. «И непонятною тоскою уже загорелась земля»... Именно потому, что он так обеспокоен современным положением России, он и настаивает: «Кто даже и не в службе, тот должен теперь вступить в службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску, без чего не спастись никому»... Вся книга Гоголя

написана, от начала и до конца, об общественном благе... И это была утопия священного царства... «На корабле своей должности, службы, должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного... Служить же теперь должен из нас всяк не так, как служил бы он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже Сам Христос»... Здесь характерен уже и этот оборот: «прежняя Россия»... Гоголь себя видит уже в «ином мире», в новом теократическом плане... И не следует ли сопоставить это самочувствие Гоголя с духом «Священного Союза», с идеологией Александровских времен и «сугубого министерства»... Образ генерал-губернатора во второй части «Мертвых душ» весь выдержан именно в этом стиле. «С завтрашнего же дня будет доставлено от меня во все отделения присутствия по экземпляру Библии, по экземпляру русских летописей и три-четыре классика, первых всемирных поэтов, верных летописцев своей жизни»... И с этим Александровским духом связано и то, что в религиозно-социальной утопии Гоголя государство ведь заслоняет Церковь и творческая инициатива предоставляется мирянам, в порядке их «службы», а не иерархии и не духовенству. «Власть государя — явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле»... И вся Библия оказывается книгой для царей, — нужно только подражать самому Богу, как Он царствовал в избранном народе... Призвание царя — «быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь»... В мире вокруг все так становится страшно, так много всюду страданий, «что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви»... Гоголь прочит какое-то небывалое воспламенение сердец... «Загорится человек любовью ко всему человечеству, — такую, какую никогда еще не загорался... Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству»... Этот утопический образ теократического царя повторяется с очень сходными

чертами у Ал. Иванова (начиная уже с 1826-го года)...⁶ Еще любопытнее позднейшее отражение того же идеала у Влад. Соловьева в его рассуждениях о теократических обязательствах русского царя⁷: прощать и целить любовью... Здесь есть некий единый поток мысли и настроений, и его истоки можно проследить как раз до времен Священного Союза... Гоголь говорит о великих религиозно исторических преимуществах Восточной Церкви; «все примирит и распутает наша Церковь»... Это — Церковь будущего: «в ней дорога и путь, как устремить все в человеке в один согласный гимн верховному Существу»... Для новых исторических задач Западная Церковь уже не подготовлена. Прежний мир она еще могла кое как «мирить со Христом» во имя одностороннего и неполного развития человечества. Теперь задачи безмерно сложнее... И, однако, это историческое призвание нашей Церкви Гоголь определяет снова с государственной точки зрения. «Может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословие, звание и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России, изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала»... До сих пор эта Церковь как-то таилась, «как целомудренная дева», но она создана для жизни... И как характерны наставления Гоголя «губернаторше» и «русскому помещику» взять на себя руководство священниками. «Объявляйте им почаще те страшные истины, от которых поневоле содрогнется их душа»... «Бери с собою священника повсюду, где ни бываешь на работах, чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника... Возьми Златоуста и читай его вместе с твоим священником, и притом с карандашем в руках»... Все это снова вполне в духе «сугубого министерства»... Не удивительно, что книга Гоголя понравилась только людям этого Александровского духа и стиля, — Смирновой («у меня просветлело на душе за вас»), Стурдзе («беседы наши в Риме отразились потом как в зеркале» в этой книге, — говорил Стурдза)... И она категорически не понравилась ни о. Матвею, ни Игнатию Брянчанинову, ни Григорию Постникову, ни Иннокентию. Под «гордостью», в которой они упрекали Гоголя, разумели они именно этот дух утопического активизма... Аксаковы не без основания увидели в этой книге западное влияние и западное зло... Верно было отмечено и то, что в книге больше морали и морализма, чем действительной веры и церковности... В том же стиле написана и «Развязка Ревизора» (с ее моралистическими аллегориями: «наш душевный город»,

«казни собственной души нашей» и т. д.)... Гоголь остается все время в кругу довольно неопределенного пиетизма. Не составляет исключения и его книга о литургии. Догматическое содержание и символика в ней заимствованы (у Дмитревского, отчасти из «Новой Скрижали»), и самому Гоголю принадлежит здесь только этот стиль трогательной и искренней чувствительности. «Божественная литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося... Послышалось кроткое лобзание брата»... Характерно, что в эпоху «Переписки» Гоголь всюду и всегда подчеркивает именно психологическое значение образа Христа, «Который один из всех, доселе, бывших на земле, показал в себе полное познание души человеческой»... Но есть в «Переписке» и другая струя, струя подлинного «социального христианства», — всего сильнее она пробивается в известном отрывке «Светлое Воскресение»... «Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, вместо того, чтобы призвать Его к себе в дома, под родную крышу свою, — и думают, что они христиане!» (в первом издании было опущено цензурой). И как характерно это ударение на оскудении братства в девятнадцатом веке. «Позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди — братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое»... Не столько славянофилов это напоминает (хотя и замечает Гоголь, «что есть начало братства Христова в самой нашей славянской природе» и т. под.)... Скорее это напоминает западные образцы, и не слышатся ли здесь скорее отзвуки Ламенне и его «Слов верующего»?.. Очень характерна у Гоголя вся эта характеристика потребностей и нужд «девятнадцатого века». «Когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество... когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвести!.. когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее — и дома, и земли»... В таком широком кругу заговаривает Гоголь о «братстве», и огорчается, что не хватает именно живого братского чувства... Между тем только через любовь к ближнему и можно полюбить Бога. «Трудно полюбить Того, Кого никто не видел. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу... Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям»... Здесь вся сила в этом «прежде», именно это словечко стоит здесь под патетическим ударением... В книге

Гоголя перекрещиваются и переплетаются очень разнородные нити, и полного единства в ней нет. Однако неизменной остается всегда эта социальная обращенность и устремленность воли... В самом замысле книги есть роковая неувязка. Гоголь старается все свести к «душевному делу». «Дело мое — душа и прочное дело жизни»... Но в том и была завязка его творческой драмы, что он всего меньше был психологом, именно психологическое обоснование не могло ему удалиться. Вместо психологического анализа получается резонерство и сухой морализм. Ап. Григорьев верно подчеркивал, что Гоголь весь есть человек сделанный... Гоголь объяснял в «Авторской исповеди», что его книга («Выбранные места») есть «исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя». Но именно этот внутренний опыт Гоголя и был смутен, в нем и была его главная слабость... С этим и связан «религиозный кризис» его последних лет. Исход для Гоголя мог быть только в отречении от социальной утопии и в подлинном аскетическом вхождении внутрь себя, — «поворотиться во внутреннюю жизнь» и советовал ему о. Матвей... Внутренне Гоголь меняется в последние годы, и это тяжело дается ему. Творчески он так и не смог перемениться. В последней редакции «Мертвых душ» он остается в пределах того же мертвенного пиетизма, что и раньше. Это и было его последним крушением... В истории русского религиозного развития Гоголь прямого влияния не имел. Он оставался как-то в стороне, он сам себя отстранил от тем и интересов своего поколения, от тогдашних философских споров. И религиозного учителя в нем узнали только полвека спустя. Только в эпоху русского неоромантизма религиозно-романтические мотивы Гоголя вновь оживают... От славянофилов Гоголя в свое время отделяла и отдаляла его встревоженность, его предчувствия социальной грозы и замешательства. Он слишком долго прожил на Западе и в самые «социальные» годы, в годы утопий и предчувствий, в канун взрыва. И как характерно при этом сочетание апокалиптического трепета с «расчетами» его утопических проектов. Именно это и было характерно для «пиетизма» (срв. и у Жуковского)... В творчестве Гоголя проблема христианской культуры была показана с ее утопической стороны, в ее опасностях и неувязках, как некое искушение... Это было отчасти и внутренним противодействием тому патриархальному благодушию, которое бывало слишком сильно у отдельных славянофилов...

